

СТО стихотворений
Владимир ЛЕОНОВИЧ





СТО стихотворений
Владимир ЛЕОНОВИЧ

Москва
ПРОГРЕСС-ПЛЕЯДА
2013

УДК 821.161.1.Леонович В.Н.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Л47

Составитель –
А.Г. Калмыкова

На обложке –
Ефим Честняков. Фрагмент картины
«Наш фестиваль»

Леонович, Владимир.

Л47 **Сто стихотворений.** – М.: Прогресс-Плеяда, 2013. – 160 с.
ISBN 978-5-7396-0265-7

Графическим образом поэзии Владимира Леоновича мог бы стать Крест. Горизонталь – огромное пространство бытия «земного поселенца» от Сибири до вымершей карельской деревни, от Соловков до Грузии. Вертикаль – крепка верой, но и землёй, поглотившей в XX веке сонмы мучеников и чернорабочих свободы. Стихи полнятся подземным гулом голосов, из тьмы проступают лица, возвращая нам память, отверженную родную речь, утраченное чувство Родины, которая есть и будет – не может не быть.

УДК 821.161.1.Леонович В.Н.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-7396-0265-7 © В.Н. Леонович, 2013
© Д.В. Логинов, оформ. серии, 2013

* * *

Сквозь дождь и дерево нагое
свет фонаря едва прошёл –
как ломкой золотой дугою
широкий вспыхнул ореол.

И поэтическое зренье
подобную имеет власть:
вся жизнь вокруг стихотворенья
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою
и жизнь кругом – и вся она,
и каждая черта – любовью
осмыслена, озарена.

* * *

Свобода берёт своё,
свободно произрастая.
Мы сотканы из неё –
основа простым-простая.
Свобода берёт своё.

Ликующее дитя,
опека – смена конвоя.
Что делать? Слишком живое
для жизни это дитя.

Но истина такова,
что жизнь сама для свободы
ещё не вполне жива.
И вот вам мои заботы,
обязанности, права.

И, нежный гений её
лелея и охраняя,
живу, гляжу на неё,
дышу, как старая няня,
которой житьё-бытьё
уже не своё – ничьё.

* * *

Ты погляди, как ветви ели
вливаются в единый ствол –
для дальней невозможной цели:
она не имя. Но глагол.

Ты укажи, в котором месте
на океане мировом
стоит безлюдный Остров Чести, –
ты ревновал о таком.

Имён своих великолепье
несовершенство бытия
влачит, как золотые цепи.
Вперёд, словесность, жизнь моя!

МУЗА

1

Где эта грешная обитель
подвальный заняла этаж,
вывешивает вытрезвитель
свой честный фоторепортаж.

Хозяйку выманит из дома,
кого попало соберёт
многосемейного альбома
столь непотребный разворот.

Застигнутый бесстыжей вспышкой,
дурной, беспомощный народ
в исподнем порванном бельишке
себя позору предаёт.

Испуг и стыд, недуг и драма...
Но все, униженные так,
во сраме их не имеют срама.
А кто судил, не знал, простак.

Идут – глядят – торчат подолгу:
вся улица развлечена.

Вот

наконец

душа

одна

* * *

Через поле, через лес.
Поднебесных и плакучих
елей сумрачный навес –
и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.
Топкая глухая хвоя.
Дебря Нижняя* моя –
всё наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист
рукописи стародавней –
озарён, глубок и мглист
тёмный свод родных преданий.

И роднее всех святынь –
невзначай в избе крестьянской –
наша гордая латынь –
кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу –
позабуду без заботы.
Хоть умру – а продышу,
продышу – до той н е м ó т ы.

* Нижняя Дебря – улица в Костроме.

* * *

В Калязине душном шиповник цветёт,
в Калязине влажном высок и опасен
разлив подземельных блуждающих вод –
при малом дожде оплывает Калязин.

Зачем на зубах эта терпкая вязь –
зелёная каменно-кислая слива –
и странное чувство – никак не зовясь –
у тёплого моря удушье прилива?

Лягушки звенят в потоплённом бору,
такие лиловые и голубые...

Когда – я не знаю – весной, поутру –
а только не вынесу этой судьбы я.

И пальцем не тронут, никто не убьёт,
а только не вынесу – жизни родимой...
В Калязине душном шиповник цветёт,
неделю стоит, кисловатый, сладимый.

От вольного света, от жизни дневной –
запомни, Калязин! – чиста роговица,
когда перед старостью или войной
является светлая отроковица.

СЕЛО НИКОЛА

Эту зиму колю я дрова на морозе.
 Разбираюсь в берёзе, понимаю осину,
 каковая внутри собрала все оттенки январской зари –
 так и в печке дойдёт добела и дотлеет дотла.

А сосновый кряжок расколю:
 эти волны, эти цепкие болоны... Развалю –
 и на сколе смоляную волну повели эти доли
 во всю долину!

Отливает шафраном ольха:

под сугробом поленница –

что лазоревки, что твои снегири!
 Ах, беда не беда, а беда не лиха –
 тот смотри, кто не ленится.

Как спасаюсь? До зари просыпаюсь,
 прыгаю в полынью. Жизнь подобна моя житию.
 Примерзаю ко льду, вылезая,

по снегу бреду к ризам.

Чуть заря. Ветерок и по телу парок.
 У меня ревматизм и сердечный порок.
 Уважаемую болезнь лечат – наоборот.
 Только разве для этого лезем под лёд?
 Быстрина струи чёрные вьёт,
 и мерцающим настом под шагом несчастным
 промёрзлое поле поёт.
 Славным мастером отлита на окрестную весь

музыкальная эта плита – затаённая песнь.

Поле, поле, ещё мы споём...

Не похожа заря на зарю –

это девочки в классе моём:

узнаю, узнаю...

В лес хожу с бедной Лялькой, с ружьём.

Лялька бедная умерла –

без меня отравилась, скулила, ждала...

Только я не охотник в лесу: слишком вижу красу

то театра, то храма. Открыто

совершаются величайшие драмы: вижу Лира,

узнаю Ипполита,

природа смела в каждом сдвиге.

Отделите добро ото зла – будут книги.

Всё меня изумляет. Всполохнётся тетёрка

и пулей с-под снега вылетит и петляет! –

только слово сообразить успеваю –

выстрелить забываю.

Но потом всё равно жиловатое мясо от страха черно,

подожмётся в печи, зарумянится –

из меня так и не получилось вегетарианца.

Будут по полу красные блики – спаси-сохрани! –

женщину прогони, слово выкинь:

нет, учитель, ни возраста, ни тебе пола –

школа! Дети – и только они

да твои наблюдающий дни Чудотворец Никола...

Все слова сохрани. Таково,

недостойный, живу возле храма его.

Колокольню и купол алтарный снесли.

Храм походит на остов

опрокинутого корабля на мели,

на угоре погоста.

Но зажмурься – и мнится,

будто цел и хорош на заре...

Вон – бельё кладовщица развешивает в алтаре.

* * *

Рае

Туманный дождик тише тишины.
Серебряное облако лежит
отсюда – до Николы и Ключей.
Ты без платка передо мной стоишь,
и палехская золотая низь
унижает волосы твои.
В лесу ещё сугробы. Дышит лес.
О раменье кругом едва-едва
белеет наледь. Поздний месяц май.
Зажги свечу в холодном сельнике,
дохни – и душу видно: ра-ду-га...
И погаси...

* * *

Давнею бурей снесена,
ветви подламывая постепенно,
мачтовая островная сосна
тонет во мшарнике розово-пенном.

Дыбится крона, капризно виясь,
освобождаясь от позолоты,
тенью и памятью становясь,
мякотью и благодатью болота.

Вся кривизна, вся прямота
безукоризненно перевита
тонкой резьбою.
Станут во благо
тяга и гнёт –
вспомнишь, когда и тебя захлестнёт
розовое, голубое...

* * *

Век бы жил на этой просеке
да ещё один бы век,
где молоденькие сосенки
гнёт-погнёт и ломит снег.

Я бы глупое и нежное
деревце освободил:
бремя влажное и снежное
всё бы стряхивал-ходил.

По рассвету-свету тихому
не хлопал бы дверьми,
научился бы по-ихнему
собеседовать с зверьми.

Баловал их солью-сахаром,
поил бы молоком,
был их лекарем и знахарем –
ходили бы гуськом
зверь за зверем за зверьком...

.....
Звери, люди, мы не братья ли?
А по заячьей тропе
пробираются каратели
к моей лесной избе.

В чёрных масках, с автоматами,
видать, из дальних мест.
Горе с этими ребятами –
совесть их потом заест.

Сниться будет кровь на просеке,
солнце мартовского дня.
Ваши детские вопросы
вы решите без меня.

А впотьмах угла медвежьего
вечно будет попадать
в хитрые капканы Лешего
губернаторская рать.

Дело это выясняется,
дело это не мертво.
Там четырнадцать «слюнявцев»
на меня на одного.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

А. Д. С.

1. АРХАНГЕЛЬСК, 3 ИЮНЯ 1989 ГОДА

Я забылся, хоть не спал,
не видал из-под руки,
как старик свои снимал
стоптанные башмаки,
а когда мои надел,
а свои ко мне пихнул,
я поднялся и зевнул
и на вора поглядел:
– Нет, отец, нехорошо
находить, где не терял,
а, наверно, ветеран...
Вздвогнул! Встал он и пошёл
как-то боком, шарк да шмыг,
из вокзальных горемык –
стоптанный сороковой,
да и тот, видать, не свой.
И пропал, сугол и сух,
и на головёнке пух.
Так мучительно похож –
на кого же? На кого ж?

А в гостинице с утра:
– Нету мест! Не будет мест!!!
...На того, кого вчера
распинал народный съезд.

Невесомый мотылёк
гнёт цветочный стебелёк.
Может быть, толика плоти
есть в пыльце и позолоте?

И кругом летает он
и не делает посадки.
Но опять ему поклон,
и опять ему поклон –
и какие тут загадки?

СТРАСТИ ЕГОРЯ

Небо иконы подобно огню.
Горы подобны щелявому пню.
Корни – угорья.
Ангел стоит за горою. В горе
нечисть гнездится. А здесь на костре
жарят Егорья.

Он принимает назначенный труд:
вот уж на дыбу его волокут,
вот и в купели –
в чёрном котле, что кипит не шутя,
варят его –
он глядит, как дитя
из колыбели.

Видя мучители доблесть его,
чудной женою прельщают его,
вынув из вара.
Тут, пролетев, ему зренья затмил
ангел – и мученик наш посрамил
лесть Велиара.

Коник святого стоял и не ржал.
Правый лишь глаз его перебежал
на левую щёку.

Коник печальный все муки следил,
рядом стоял или где-то ходил
неподалёку.

Стерпит, покоен во славе венца,
страсти Егорий свои до конца
повествованья.

Глядячи в небо, дракона сразит,
но никакого не изобразит
лик ликованья.

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ

Воздух тесный, воздух мгlistый
пахнет мылом и водой.

На пружине на сталистой
между небом и землёй –
деревянное корыто.

Лубяная колыбель
белой марлицей прикрыта.

Человеку шесть недель.

Деревянная теплушка,
мокрой простыни клочок.

Стирка – сушка,

стирка – сушка.

Тихий мальчик – грудничок.

В этот полдень, в эту стужу
навещаю я её.

Почему живёт без мужа –
это дело не моё.

Ничего она не просит:

и вагончик не сквозит,

и газетку ей приносят,

и печурка не дымит.

Не посмотрится на сына.

В «монтаже» одна. Давно...

Смотрит белая равнина
в запотелое окно.
Надо мальчику кормиться,
надо сесть ко мне спиной.
Этот воздух материнства,
одинокий и грудной,
этот запах – горклый, кислый...
«До свиданья» второпях.
Эта зыбка на сталистой
на пружине, на стропях.

Где же горе, где обида?
Двери настежь, в горле ком.
Вся равнина,
вся залита
материнским молоком!
Спи, младенец мой прекрасный,
среди бела-бела дня,
среди чудного пространства
возле станции Иня.

ПОЕДИНОК

Ксении Котляревской

Она одна облагородит
и день и час – десятком слов.
Она ничтожество низводит
с его начальственных верхов.
И вывернуты наизнанку
улыбки благостных господ...
Её бы взяли за осанку
в какой-нибудь 30-й год.
Хоть – за лицо. Хоть – за посадку
прекрасной гордой головы.
За десять выстрелов в десятку,
где в молоко лупили вы.
Вы, прячась в бороду и ворот,
годами жили не дыша.
Но быть должна на спящий город,
где нет мужей, одна душа...
На весь родимый вшивый рынок,
продажам-куплям вопреки...
Какой прекрасный поединок!
Какое благо, земляки!

Кострома

* * *

Нелепая русская тяга –
большого пространства труба.
Как нищий и пьяный бродяга,
всю ночь завывает судьба.

В полосчатом рваном халате
кружится промокшей листвой,
и к воле зовёт и расплате,
и ждёт при дороге – не вой!

Я спал – это в душу ломилось.
Я спал и кричал: погоди!
Наутро она утомилась,
лежала и снегом светилась.

И женщина шла впереди.

РУСЬЮ ПАХНЕТ

Дым вокзальный Русью пахнет.
Без билета на мели.
Над перроном как бабахнет –
реактивные пошли.

Отдалось, прошло со звоном
коридором звуковым,
пылью кислую, озоном
потянуло грозовым...

Человечек в чём-то сером
на скамейке МПС
сам к себе таким манером
вызывает интерес:

чиркнет спичкой – и втыкает
прямо в кожу – ничего! –
стоймя спичка догорает
на ладони у него.

Чёрные фигурки вдовьи
возникают, как в кино –
дальним планом, – на ладони,
нечувствительной давно.

На ладонь и потылицу
не хватает коробка.
Как ежова рукавица,
растопырена рука.

Что же в нём перегорело
за войну ли, за тюрьму,
если боли просит тело,
если всё равно ему?

Паленины дух смердящий...
Человечек завалящий
озорно глядит в упор:
хошь ещё, давай на спор!

И словесности изящной
далеко до этих пор.

Дым вокзальный Русью пахнет.
Что ни шаг, то край земли.
...Налетит, бабахнет, ахнет,
долго рушится вдали.

БЕЛЫЙ СВЕТ

В полутёмном кабинете
конопатый потолок,
не берёт его побелка:
мел воруют, белят мелко,
скуден свет и низколоб.
Ванька-Каин на паркете –
ворошиловский стрелок.
Вон и красный уголок,
там не дерево, а кафель...
Он учёный, Ванька-Каин,
он уважит и усадит,
по волосикам погладит,
для начала вырвет клочок...
Ходит мягко, смотрит глухо,
призасунул пятерню.
Ну-ка я тебя, Ванюха,
к той картине применю:
под фуражкой человечек,
он закутанный во френчик,
он со спрятанной рукой –
знать не знаем, кто такой.
Он плывёт в дубовой раме
в полумраке над столом...
Поделом – над всеми нами,

вахлаками, – поделом!
Как я Ваньку обелю?
Как я губы разлеплю?
Где я зубы соберу?
Я забылся в кабинете,
пробудился на рассвете
над оврагом на юру,
во берёзовом бору...
И кидают нас в известку –
кто убит, кто не убит –
всех дотла сожжёт карбид,
выбелит мою берёзку.
Тонкий выступит мелок.
Заровняют братский лог.
Были косточки – и нет.
Только в роще белый свет,
только слабое сиянье
возле каждого ствола
вам напомнит, россияне,
про великие дела.

СЕМЕРО И ОДИН

В. Суховскому

Твои рассказы про ГУЛАГ
душе моей невольно.
В социализм врос кулак,
а врос в тайгу и мерзлоту.

На чёрном севере страны
семь кулаков сидят кружком,
и снимали зипуны,
и все присыпаны снежком.

И в мужиках дыханья нет –
они витают в лучших снах.
И лишь мальчишка малых лет
как будто дышит в зипунах.

Высо́ко вытаял сугроб,
лежит на теплинé малец,
застыли все, и нету дров,
и этот мальчик не жилец.

Как поминальная свеча,
он долго теплится в снегу.
Земля уже не горяча,
и как ему я помогу?

И как ему поможешь ты,
покуда милует мороз,
пока по следу теплоты
ещё густеет белый ворс?..

Минует время – горе, гнев –
одно минует за другим.
Семь кулаков, окаменев,
сидят над мальчиком своим.

ВСЯ ПРОСТОТА

Заплачет камень, пепел вспыхнет,
огонь сойдёт с листа – и вы,
кого ни в мёртвых, ни в живых нет,
появитесь в виду Москвы.

Вспять обратясь в несчастном веке,
вернётесь – до одина все –
как бред: как северные реки
сквозь радиальные шоссе –

в свои бутылки и лубянки,
дворы, подвалы, кто куда,
на подмосковные полянки...

ИХ МИЛЛИОНЫ! ГДЕ ЖЕ ТАНКИ?
БЕГИ ОТ СТРАШНОГО СУДА!

Вам крепки нет. Вам нет могилы:
тому – звезды, тому – креста.
Воистину, не вы погибли,
а мы. И вся тут простота.

ЦАРЬ-СВЕЧА

В моём отечестве любому палачу
всегда в достатке памяти и чести.

На Красной площади, на Лобном месте,
поставить надлежит свечу
за упокой невинно убиенных,
крест высечь в камне и звезду –
два символа и знака сокровенных,
умерить скорбью их вражду.
Равно пригодны для распятия
крест и звезда.

Хоть мёртвые, теперь вы братья,
товарищи и господа.

А место Лобное, конечно,
задумано и было как подсвешня
для небывалой Царь-свечи.

Остановись. Опомнись. Помолчи.

ПЕЧАТЬ

Двенадцатый мага́зин, где прилавок
лоснится от прибоя хлебных давок
и лязгает в пазу лучковый нож.
Прилипло к пайке лишних полдovesка.
– Назад положи! – горланит хлеборезка.
– Беги! – Держи его! – Оставь, не трожь...

В ногах толпы, в шатучем полумраке
приземистые скользкие собаки,
авоськи и мешки,
безногие фронтовики,
хрипатые, с распухшими зобами –
кто действует локтями, кто зубами –
галоши, голенища, лапотки.

Что скажешь, лейтенантик руконогий,
обрубок безнадежно одинокий,
всё растерявший, даже самый страх,
митинговавший возле винных стоек,
покуда спал Господь и лгал историк,
ты, в одночасье втоптаный во прах?

Что скажешь ныне? Поделись судьбою:
в каком углу покончили с тобою,
как скопом ликвидировали вас?

Как заработал голубиный всас –
изобретенье мысли санитарной, –
живьём сосавший с площади базарной
всю вашу стаю навсегда и враз?

И амба! С добрым утром, милый город...
Но шарикоподшипниковый грохот
не гложет над базарной мостовой,
ещё смягчённой грязью и навозцем.
Перед калекою-орденоносцем
мальчишка – я – на площади Сенной.

И он, навзрыд, внушает мне, как мерзко
сверкать чулочками из фильдеперса
и пьяные приказы отдавать,
как все мы преданы бесповоротно,
И МЫСЛЬ ЕГО БУЛЫЖНА И ОГРОМНА,
и он, взмахнув толкушкой – в жись и в мать! –
влепляет в грязь возмездия печать.

Кострома

* * *

Вынув из урны хлеба кусок,
бабка его завернула в платок.
Кто его бросил и кто оплевал,
я не увидел и не назвал.
Но по тому, как взглянула она,
я ужаснулся: будет война!

70-е годы

Портреты. ТВАРДОВСКИЙ

.....

А лиственница хороша
и на голову выше леса.
В ней шелковистая душа
и древесина как железо.
Бывает так: на море хвой
налягут ветры верховые,
и ломают корень становой,
и вырывают боковые.
Великолепный ствол простёрт:
всё погибает быстро – или
годами мается, растёт...
Какое дерево свалили!

.....

За новомировским столом
Твардовский в голубой рубашке.
Всё пребывает – поделом –
в почтительном державном страхе.
Магнитофонная змея
прокручивается вхолостую...
Стучатся – входят. Это я
пришёл к нему. Я протестую.
Против чего? Против молвы:
Александр Трифонович, Вы
отrekliсь от Солженицына?
Не понимаю...

навстречу своре – на рожон –
медлительно и добровольно.

.....

За молчаливою рекой
в краю печали и мороза
не докричатся перевоза –
где перевозчик молодой?
Ни голоса из-за реки
и ни мосточка, ни жердинки.
В лице прозрачном – ни кровинки
и – дышащие те зрачки.
Я вижу мать и вижу сына
и гиблого народа тьму:
содвинулось – лицо – едино...
За что же мучиться ему?
Какой указ? Какая статья
народу гибнуть в месте диком?
Перед лицом же, перед ликом
замученных –

не устоять.

Я убежал – смотреть не мог.
Овраг, захламленный лесок,
куда-то дальше, дальше, к полю –
упасть и вырветься вволю!

...И жизнь пройдёт, и смерть пройдёт,
и кто-то, взысканный утратой,
как Тёркин твой, переплывёт
на берег правый – и вперёд
путём поэзии проклятой!

* * *

Небезгреховна, небезвинна,
полутемна, полусветла,
серебряная середина –
простая жизнь моя текла,

но Божьей карою обвала,
как Иов, был я потрясён,
и прошлого – как не бывало,
и настоящее – как сон.

Но то, что речь ему расторгло
и возопил, и был спасён –
мне только сдавливает горло,
и я над кручею взнесён

притихшей тяжестию всею...
И нет чудес, и нет пути.
Но, Боже, участью моею
любимых не отяготи!

* * *

Здесь переедем-перейдём,
где смерти грозные владенья,
вниз поглядим – и страх паденья
на мужество переведём.

Орлиный отрешённый круг –
свободный перевод рельефа,
и взгляд возвышенный – и с неба
в тебя вперяющийся вдруг.

На дерево взобрался плющ,
гранит посеребрили слизи –
они повинны в буквализме,
который столь им при-со-сущ.

Ты многого ещё не знал,
доверься счастью, брось поводья:
сию минуту в переводе
рождается оригинал!

Зима – над нами высоко,
а здесь весна – сырой подстрочник
ручьёв, ростков, снегов непрочных...
– Я вижу осень, дзамико*.

* Дружок (груз.).

ПЬЕТА I

О милосердии мольбу
ночами гений высекает.
Он в шлеме, со свечой во лбу
ведёт резец и зубы скалит.

Наклонится – падёт ничком.
Очнётся – встанет на колени.
Квадратноглавы, с молотком
отбрасываемые тени.

Он Библию не повторит,
снимая белые покровы,
и за год в нём перегорит
гнев Данте и Савонаролы.

Есть в камне заключённый свет,
как бы неведомый природе.
Есть Богоматери завет,
изваянный Буонарроти.

ПАМЯТНИК ПИРОСМАНИ

Э. Амашукели

Непринуждённо и легко
такое сходится – взгляни-ка, –
ты видишь, как стоит Нико?
А помнишь, как летела Ника?

Дух торжествует во плоти
как бесконечное стремленье:
– Тварь жертвенную защити! –
он опустил на колени.

– Её спаси – меня прими! –
к груди ягнёнка прижимает
руками – и накрыл плечьми –
трепещущего обнимает...

Смысл жертвы – жертва до конца.
Грудь – впадина; движенье птицы –
крылами заслонить птенца.
Попробуй – выломит ключицы!

Душа художника горда
и не умеет покориться,
но лучший гений – материнства –
нас осеняет иногда.

Записи. ПОКА ДЫШУ

Я только мать. Меня нельзя обидеть.
Мой долг простой нельзя перерешить.
Решили... Ничего у них не выйдет.
Я только мать, обязанная жить.

Я не вольна в себе. Гляжу повинно
на их старанья. Что ни говори,
добра хотят... Но только пуповина,
связь всех времён – здесь, у меня, внутри.

О, это велико и непостижно...
С великой жалостью на них гляжу...
Нет, у Иуды ничего не вышло –
и никогда... А я пока дышу,

и дни и месяцы плывут навстречу –
дышу – шевелится – седьмой, восьмой...
Я ничего другого не замечу
и не решу... О Боже! Боже мой!

Рассказывали мне... Я не забуду...
Как бредил Иисус... Как у одра
дежурил Пётр – и Бог просил Петра,
очнувшись: – Пётр! Пётр! Спаси Иуду!

Я мать. Я оболочка. Я обложка
великой книги: вам её читать.
Я на восьмом... Ещё, совсем немножко –
и всё. И нет меня. Я только мать.

Владимир ЛЕОНОВИЧ

ТВОЕЮ СЛОВОЙ

А вам такое не знакомо,
когда ненастью вопреки
уходят – не сидится дома –
и бродят ночью старики?

И кто их знает, где их носит!
Один споткнётся как-нибудь,
переходя железный путь, –
лежит и помощи не просит.

Находит мир его душа
за пустырями на дороге...
Красивые подходят ноги,
смолёным гравием шурша.

А он не столько плох и стар,
ещё не столько, Боже правый,
чтобы утратить лучший дар
пред женщиной – Твоею славой.

Ей гений дан: как поняла!
Ей тоже полночь эта снилась...
Легко и сильно наклонилась,
своим дыханьем обдала –

теплом младенческим и млечным,
существованием иным –
туманом утренним заречным,
лугами, молоком парным...

Она ведёт его по шпалам
туда, где света материк,
и телом лёгким и опалым
трепещет, мается старик.

Заплакала, занемогла,
нагнулась, потеряв гребёнку,
и помочиться помогла
ему, как малому ребёнку, –

и – полумёртвая – ведёт –
да чтобы только не споткнулся...
И город и небесный свод
на эти слёзы навернулся.

* * *

Тринадцать пуль отлей мне, оружейник!
Г. Табидзе

Лесная родина. Июль.

– Галактион, семнадцать пуль
в груди моей сорокалетней!
Какая жизнь – хоть не живи!
Опять предвестие Любви,
всегда великой и последней...

– Какое счастье, милый мой!
Семнадцать пуль... Как жизнь прекрасна
и в час последнего соблазна,
когда достаточно одной!

– Беда, беда, Галактион:
леса горят и сохнут реки,
ты видел буйный лес знамён,
а я – обугленные дровки.

– Семнадцать раз переживи!
ЦАМЕБА* – помни эти звуки.
Лес – на огне. Храм – на крови.
И всё и вся – на смертной муке.

* Мука, страдание, но с оттенком праведной победы (груз.).

ТАВИСУПЛЕБА*

Узнает всё и переверёт
колпак учёный.
Горячкой белой тот помрёт,
а этот – чёрной.

Зажарят одного в аду,
другого – заморозят.
Я постою – и сам уйду.
Тебя – увозят.

Я тень – далёко – на краю –
сторожевая.
Нельзя стоять, где я стою, –
земля кривая.

А правый небеса коптит –
и нету сладу!
Галактиона тень летит
ввысь – по фасаду.

Чей стыд ты искупил, старик, –
и – в небо?
Семь лет перевозжу твой крик:
– Тависуплеба!

* Свобода (груз.).

* * *

За острой желтизной дрока
дороги белой не видать.
Когда осыпалось барокко,
тогда открылась благодать.
Тропа моя ушла к бурьяну,
к боярышнику и стене –
к Галактиону, к Тициану,
ко всей замученной родне.
Ещё рукою суеверной
ветвь ломаную отведу,
ещё увижу свет безмерный...
К стене щербатой подойду
и повернусь – и что-то щёлкнет,
как на рассвете первый дрозд,
и перед тем, как всё умолкнет,
вытягиваюсь в полный рост.

ПОД СОЛНЕЧНЫМ ОБВАЛОМ

По причине суицида
помрачнел палач.

На отвале антрацита
процветает грач:
иззелена-серебристым,
голубым, гранатно-алым
с беглым проблеском капризным
грач
под солнечным обвалом!

Солнце давит и печёт,
опаляя грачьи крылья...

Это здесь, мне говорили,
был РАССТРЕЛЬНЫЙ ТУПИЧОК –
тупичок товарный, сорный
на окраине пустынной,
в сизой патине полынной,
в синеве туманной, горной,
в чёрном городе Рустави...

Но глаза мои устали,
и себя уже сама
не выдерживает тьма.

ОЛЬГА

Баллада

Памяти Ольги Степановны Окуджава

Беззвучен и велик,
сомкнулся круг Полярный.
В одной из сводных книг –
твой номер инвентарный.
Амбарную найду
шнурованную книгу
и пальцем по-ве-ду –
в число и цифру вниду.

Под вечной мерзлотой,
под молнией моментальной –
прозрачной чернотой
окутана хрустальной...
И в неге, и в тени
росла-произрастала...
– Виновных не вини,
от злобы я устала.

Пророчица пурга
по ледяному полю
сравнила берега
свободы и неволи,
по горло замела
обугленные кочки –

ни цифры, ни числа,
ни инвентарной строчки.

Твердыня – на плаву,
на хлябях Мегиона,
где Ольгу я зову
строкой Галактиона.
Я эту смерть расторг
одним усилием вольным...
Стынь, северо-восток,
на своде колокольном.

ДЕДУШКА УБИЙЦА

Белле

Он в гостинице швейцарит,
в вестибюльчике царит,
бородой в ночи мерцает,
дремлет – слушает и зрит.

Надзиратель в годы оны
и теперь ещё сексот,
отирает фальшколонны,
службу главную несёт.

Со своим коллегой в паре
он без дела не грустит
в ресторанном перегаре
в холле бывшей «Мажестик»*.

Утром стоя за хинкали,
тосты дикие шепча,
душу греют, пьют, ракальи,
за бессмертье Палача...

А словесности царица,
проходя у фальшколонн,
– Здрасссьте, дедушка убийца! –
делает ему поклон.

* Гостиница «Тбилиси» в Тбилиси.

Он отпрянет деревянно:
будто в темя обушком
тот поклон
от Т И Ц И А Н А*
вместе с царственным смешком!

Владимир ЛЕОНОВИЧ

* Тициану Табидзе (†1937) проломил череп.

ИЗ АЛЬБОМА

Георгию Маргвелашвили

Видел я Каргополь нынче и Петрозаводск,
 Питер и Оренбург, Кострому и Калязин,
 алмаатаюсь по свету, и нет мне опоры.
 Нет – как дифтонга воздушного «и-а», чтоб мог я
 Гиа сказать, Гиинька, домосед мой счастливый!
 Ты себе дома, и крепки твои бастионы
 рукописей, корректур, запылённых подшивок...
 «Книгу в себе» ты умеешь ценить, прикасаясь
 пальцами бережно к авторской подлинной правке,
 к детскому почерку: о! лепетать, о цхинвали! –
 белую папку одну разрешив от тесёмок.

Третий этаж, и звонок – наконец! – и объятья,
 и ритуальные танцы, и пухлые ручки
 к небу воздеты, и прыгает Лялька, и Джанка
 лает и лает, и монументальна Этери,
 как дедабодзи, держащая Дом крестокрыло.
 В этом триклиньи грузинском теснятся картины,
 книги, растенья и камни, и – вечные гости –
 в комнаты входят с балконов лоза и глициния.
 В этом дарбази античном гостят олимпийцы,
 ликами – вполоборота – из тьмы выступая.
 Додик Давыдов, наш Рембрандт, снимал их, но если б
 преображённые Додиком оригиналы
 вдруг собрались – не избегнуть бы нам потасовки.

Мир вам, которые живы, и царство... Но царство – в воздухе дома сего: замирание звуков благоговейное, этих камней и растений позы, и возникновение звуков, и ликов этих вниманье – и всё тут внимает и внемлет некоей чудной стихии... Но страшно за Гию: так незнакомо лицо, и уста побелели, бездной какой-то охвачен, последним блаженством, на волоске его жизнь... Длится пауза... – Белла, гениалури, – прошепчет, ещё не очнувшись. Беллину книгу держал я, как Вацлав Нижинский Павлову Анну, и это – вина режиссёра. Бисерным Гииным почерком: «Павлову Анну – Вацлаву...» – мне. Белла, Белла! Балет наш окончен: сцена в крови, сорван занавес, обе кулисы – два сапога исполинских, великодержавных...

1977–1989

ТЕМА

...На Кавказ идёт ночная мгла.

Пушкин

Слепа и сонна
 магнолия цвела
 в объятьях лавра,
 как Дездемона
 в объятьях мавра –
 благоуханна и бела.

Фонарь последнего вагона
 ла–ла ла–ла
 Над родиной Галактиона
 НОЧНАЯ МГЛА – лишь купола
 Кавказ возносит белоглаво.
 Ночная мгла, моя держава,
 КАК ТЫ МОГЛА... Твои дела,
 твои кровавые дела
 вовек не ведали предела.

Вскипела воля Сакартвело,
 от правой ярости бела!

Колокола... колокола...

Теперь она едва тепла,
 слаба и сонна,
 как раненая Дездемона.
 Ла-ла ла-ла
 ла-ла ла-ла

СТУЖА

Рука поднимется – и палка
сама ударит, как боёк,
и Волга лопнет поперёк,
и малых трещин перепалка,
как стая галочья, слышна.
Однако тот глубокий, влажный
разрыв глухой и вздох протяжный
всё вспоминает тишина...

ИМЯ ПРАДЕДОВО

Нет ни кликов, ни откликов,
течение неколебимо.
Прадед мой был Василий Облаков
из Любима.
Сиротеют потомки:
против времени кто ж пробьётся?
Огонёк на потёмки –
имя прадедово остаётся.
Так блуждаешь – долго да около, –
жребий русский.
Был ты Облаков –
стал Боголюбский.
Припаду ли когда на паперти
к твоему надгробью?
Я, обязанный матери
сильной кровью,
между мусора прусского
и родимого благосвинства
пе-ре-нял жилу русского
духовенства.
В эту жилу вбежала
и запенилась кровь отцовская:
там Мицкевичи, там Варшава –
воля польская.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

содержанья охранного,
жития ради странного и сугубого сыска приставного
мною составлена.

Филология, помоги в кровь не драться!
Не о Боге я, братцы, хоть Его попущением
хульны ереси на нь писахом...
МЫ ОБЯЗАНЫ ПРОСВЕЩЕНИЕМ НАШИМ
ЧЁРНЫМ МОНАХАМ.

Связным времятечением – тем писателям и учёным
в постриге, в облачении белом и чёрном.
Не оставивший имени паче славного нарекаем –
и к родимому вымени всласть принимаем.
Перемазаны киселём-кашей – ликование и резвость!
ЧТО Ж КУСАТЬ НАМ ГРУДЬ КОРМИЛИЦЫ НАШЕЙ –
ИЛИ ЗУБКИ ПРОРЕЗАЛИСЬ?
Мы обязаны словом – малым школам приходским,
тёмным книгам крестовым,
дамаскинам своим безымянным – тверским,
вологодским...

ЖИЛ-БЫЛ ПОП – НЕГОДЯЙ ДУХОВЕНСТВА.
Филология, помоги,
тут кричит неравенство,
и синонимы суть враги.
Кто кому что наследует? Как себя понимает?

Только с Богом священник беседует –
поп начальству внимает
и последнего русского евангелиста
так с амвона поносит – святых выноси...
ДУХОВЕНСТВО РУСИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧИСТО.

70-е годы

ПАМЯТИ ОТЦА ФЕОДОСИЯ ЧУЛКОВА,
СВЯЩЕННИКА НИКОЛО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

Записывает вездесущий Даль:
сгорела церковь старая со звоном.
Сгорел и безымянный тот звонарь,
в огне звонивший... С Богом повезло нам.
Тот колокол лежит на дне курьи
неподалёку от спрямлённой Вохмы,
где уши гулом полнились мои –
или безмолвием его – и глохли.
Как будто луговина морщит лоб –
волнуются старинных русел складки.
Их грубо разрубил сплавной прокоп.
В колодах пожни, и река в упадке.
Уходит на́ полдень раздольный плёс,
погост бугрится над крутой излучкой.
Преданье тишиной отозвалось
и заревами над лесной округой.
Одна заря горит над Веденьём,
другая гаснет где-то над Ключами...
Надолго ли в отечестве моём
колокола и песни отзвучали?
Лесами – Юг-рекою – на Двину
ушёл крестьянской памяти хранитель –
тебя почтительнейше помяну,
отец Чулков, приходский просветитель.
Небесно царствовать – лежать тебе

обочь дороги неисповедимой,
ослабшему в невольничьей толпе,
на полночь этапами гонимой.
Несчастных, утешать их нелегко:
вон Сашку розняли с дитёнком малым –
ревёт и сцеживает молоко,
оставив сына полугодовалым.
– Как звери зимовали-ти, в земле.
Никольский весь этап тогда и выдох.
Христовных прикопаем по весне,
а зиму ходим мимо незарытых...
Вздохнёт – не всхлипнет – слёз давно уж нет,
всё перескажет ровно и безгневно
без малого через полсотни лет
та Сашка – Александра Алексевна.
Прости: село не помнит про тебя,
а не было души светлей и кротче.
Враждой кровавой сердце огрубя,
живём подённою нуждою, отче.
Темно живём – на небо не глядим,
для бабы – ферма да чугуны с корытом,
для мужика – семёрка да калым –
темным-темно, одним-единым бытом.
Этап твой выдох, и приход одик,
спивается твой сын, из жизни выбит,
развеян пепел родословных книг,
давно без купола, пустой навывлет,
твой гордый храм являет жалкий вид:
обрушилось бревно череповое,
расселась кровля... Сколько простоит
Никола с непокрытой головою?
А колокол, что уцелел в огне,
повержен вновь, да с колокольней вместе...

Мне страшно и помыслить о вине –
мне только принимать её возмездье.

В курье гнилой он тонет много лет,
в подушке торфяной – тебя он помнит...
Нет, он не бьётся головой об лёд,
но пойму влажную собою полнит,
и почва под ногами – как волна!
Особенно когда разлив в апреле,
тот гул подземный выдают сполна
кривые расходящиеся мели.
Ещё... Ещё не раз я замечал,
что здесь на отдых облака садятся.
Ещё... Он говорил – я отвечал.
Он говорил: – Избудем святотатца!
– Избудем.

ПОКЛОН КОСТРОМСКИМ СТАРУХАМ

Река – тогда она была рекой –
 снесла меня, едва зашёл по шейку,
 но я спасён был бабой костромской
 и на плоту отшлёпан хорошенько.

...Всё вижу: мутная вода желта,
 а ноги тут же отнялись со страху,
 на корточках на лаве баба та
 полощет, пялит белую рубаху.

Нет голоса, пускаю пузыри...
 Махну рукой... Меня на стрежень тащит...
 Янтарно-зёркальная изнутри...
 Мальчишка тонет и глаза таращит:

весь берег солнечный, костры в цепях,
 плоты, платки – отчётливо и колко –
 телега с бочкой – мельком, второпях
 и навсегда уже... Ой, Волга, Волга!

Но Тот, Кто это сверху видеть мог,
 Тот бабу под локоть толкнул: гляди, мол –
 вон головёнка, будто поплавок,
 то вниз её, то вверх – и мимо, мимо...

ОНА УВИДЕЛА – и в воду плюх!
В опорках, в юбке...
И сегодня в лица
я вглядываюсь костромских старух –
и каждой,
каждой
надо поклониться.

Владимир ЛЕОНОВИЧ

РОДНЫЕ

По России, по Сибири,
сам не знаю отчего,
так они меня любили,
как родного своего.
Всё живое – тесно, больно –
вот стареют – смерти ждут,
а просты, а безглагольны...
Дом пустой – часы идут.
И везде переселенец
и нигде не сирота,
перепутал как младенец:
та родная или та?
Жив я, нищий и никчёмный,
это – милое – копя:
– Целовек-от ты уцёной,
так и жалко мне тебя. –
А и мне – и так, и жалко:
груди нет, спина да палка.
И гляжу и пропадаю:
так стояла б – молодая,
так бы руки прятала,
так бы зорко взглядывала.
И, ресницы притемня,
угадала бы меня...

Это – в рамке на стене,
будто в омуте на дне –
ты – не ты? В красе и славе,
в лапоточках и с багром
в майский день в лесу на сплаве –
стлело время – вышел бром.
Не гляди уж так плачевно,
укоризну затая,
мама Ольга Алексевна
одинокая моя:
по Сибири, по России,
память милую храня,
без меня живут родные,
помирают без меня.

Портреты. АННА ХОДАСЕВИЧ

Воспоминаньем истлевая,
живёт старушка восковая
и мертвецов своих корит,
и говорит, и говорит...
На стенке с ними заодно
сама хозяйка в кимоно,
надменная и молодая.
Овала рама золотая.
Всех пережить ей суждено.
Слышна затейливая погудка:
электрочайничек парит.
Старушка голодом морит
и чёрным чаем – рак желудка.
И, начатое позабыв,
без перехода и вразбив,
но ровным тоном, как в балладе,
рассказывает мне о В л а д е.
Начало от конца. Покинул
меня в раскаянье, в слезах
и написал, что сердце вынул
и помнить будет в небесах.
И мне, однако, рай обещан...
И тут обиды. И про женщин –
одна на сером жеребце

въезжала прямо на террасу,
так домик весь звенел и трясся,
а Владя расцветал в лице.
Потом ушёл и был с другой
над венетийскими водами –
но все цвели и опадали,
а я была ему – одной.
Его ронсаровские циклы
читала, плача и любя.
Мне говорит: играю в куклы,
запомни – я люблю тебя.
Я знаю – что ж ты врёшь другим?
Его спросите-ка подите!
Не подступиться – поглядите:
и часто он бывал таким...
Чуть фотография туманна,
а взгляд пронзителен – ей-ей,
игумен братии своей.
Сознание дара или сана.
Певец четвёртого сословья
и пятому последний брат
затем, что весь – аристократ
гордынею, отчасти кровью.
И я писала – только Владя
писать не то чтоб запретил,
а пошутил – да и отвадил
и круг другой мне очертил.
Был мягок и непререкаем.
Я знала весь его словарь:
уж если говорит – я Каин,
то надо понимать – я царь.
За гордость эту и молюсь.
Мне говорит: я становлюсь
произнесённым мною словом
и тем сойду путём готовым –
Орфей – отселе прямо в ад...

О Боже! Всё равно не верю
ни Каину его, ни зверю –
не больше прочих виноват.
Но, жалуясь и негодуя,
такую вздумает вину –
свою, чужую, не одну –
навалит на спину худую.
А мне: не забывай, Нюрок,
хоть ты мой рай, но ты мой рок.
Незабываемо и чудно
бывало, право, как в раю.
Так и скажу про жизнь мою
в день судный...
И говорит, и говорит –
ему, себе ли в утешенье.
Однако это разрешенье
мучений, ревности, обид.
И как-то мне легко и странно:
я словно послан от него –
к тебе от мужа твоего,
великомученица Анна.
Где спесь его, и мрак, и злобство?
Где сатаническая роль?
Великодушное потомство
воспринимает честь и боль
и ту классическую соль
избранничества и сиротства.

Записи. ПИСЁМУШКО

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажонный
на два годичка незашто посажонный
говорят не виноватый ты Ванюшко
кланяется тебе твоя мамушка
и всем товарищам твоим и всем начальникам
как и звать не знаю величать ли как
прости Ванюшко меня простоголовую
таку негодну дурословую
всё и складываю нонь да причитываю
а писёмушка твово не прочитываю
а прочитыват сын мой Вовушко
он и пишет всяко писёмушко
родной сын посажонный куролесливый
а чужой учёный жалесливый
скажу сделай что дак он и рад
а уходит сам в байну в трубу играт
и пошто эту гадось в рот берёш
такой смиренный весёлый да всем хорош
у его труба ли квохчет ли керкает
а ку песню заведёт всю сковеркает
давай брату гыт мать писать письмо
а письмо вперёд и бежит само
нет уж мать по порядку веди не спеши
а ты не слушай меня знай пиши

дуда гнутая сарафаном звать
вся серебряна с такими папинкам
в байны сам сидит раскладёт тетрадь
нуко с птичкама такима с крапинкам
а лони пришло эких-то пятеро
кто таки а говорят с конца озера
дак в палатке ночесь их заморозило
а у Вовушки ни отца ни матери
запустила их в зимню горницу
сама думаю кака может вольница
нет гыт мать мы художники
и тебе ещё может помощники
эти двое-то с двоима жёнами
так что мы тебе не грабители
жаль смеюся говорю что не видели
непутёвого мово посажоного
а ты Вовушко не жанат чево
а гыт мать всё в жизни обманчиво
а сам поглядыват на фотку на сестру твою
на таку же на дуру беспутную
добротой да красотой своей нещасную
в батьку видно тихую согласную
а вот как сынушко заключённой ты мой
одна беда мне с твоей тюрьмой
как пошли дожди да картошка не копана
а сыны ушли дак не прикованы
мне высокодавленье такой степени
ин до звёздочек до края потемени
всю шатат меня ровно пьяную
на коленках в борозде тут и плаваю
изустала да пала да запела я
во всю голову дура угорелая
говорить-то путём разучилася
до того сей год с картошкой добилася
не сердис на меня сыночек Ванюшко

плоха стала я где бы батюшку
нету батюшки нигде нет и в Пудоже
видно ждут меня к себе знать зовут уже
поклонися от меня всем начальникам
каким товарищам как звать величать ли как
а ещё тебе сам напишет Вовушко
напиши ему беспутному два словушка
и за что только Бог меня наказыват
знает все мои грехи да не сказыват

ОБИДИЩА

Лидии Корнеевне Чуковской

Заброшены поёмные луга.
Трава дичает, и земля тоскует,
и речка дремлет. Водоросли взяли
дурную силу. Волглая земля
пружинистую кочку выгоняет.
Травы – по грудь! Ступил – упал, и впору
на лыжах по июлю пробираться.
Зовутся одичалые места
обидищами... Что же делать? Гну
из проволоки кошку, и тащу
челнок «Титаник» через хвощ и тальник,
и русло прорубаю в ивняках,
и колодняк растаскиваю. Кошкой
русалочьи выдёргиваю космы,
как бы немецким краешком ума
то волокно прикидывая в деле
каком-нибудь... Ух, жарко! Овода...
Кисельная вода, кисельный берег.
Четвёртый прочищаю омуток
для хариуса, он травы не любит.
Но мне не выкосить лугов дремучих,
где стожары ещё торчат – с тех пор,
как тут косила в девках бабка Лиза –

и хвощик в мелкой речке, и осоку,
а на запретных поженках лесных
косили по ночам...

– Придут – отымут,
а чем кормить скотину? Дети дак!
Паду и заревусь, *одва отходят...*

Обидища...

Зачем я привязался
к тяжёлым, погибающим местам?
Три человека там ещё зимуют,
два дыма по утрам стоят высоко
над яркими карельскими снегами,
два огонька горят в потёмках ранних.
Зачем я – на погосте – дом поставил?
Не знаю... Руки знали. Вот и дом.
Вот печь – да русская! – Так я писал поэму,
как эту печку складывал – чтоб тяга...
Вот озеро в окне – и волны света
скользят по потолку... Зачем, зачем?
Затем!

Не спрашивай, а дело делай,
как первоклеточка всего Творенья
в какой-нибудь начальной преисподней...
Теперь крестьянский пот тебя научит,
чему не учат университеты,
теперь опомнись и *благослови*
народную работу и пойми
обиду...

К вечеру я с ног валюсь.

А если не валюсь – мой день неполон!

– Ты каторжной, – мне Лиза говорит.

– Сама-то какова?

– А дух выходит,

выходит, Вовушка.

При всём при том
меня гнетёт – неделанное дело,
преследует – несказанное слово.
Я чувствую огромную усталость
от жизни – той, непрожитой! – и смерть
приму от нарастающего долга.

ЯВЬ

Как надо отдыхать от слов?
А – как пешком ходил Белов
по следу сосланных героев
от Вологды на Соловки –
один за всех за тех, у коих
на это ноги короткие.
А классики сидят на месте,
имея свой аэродром
опричь досугов и хором.
Но тут работает возмездье,
и нет у классика чернил,
и отвращение к бумаге,
и кажется ему, бедняге,
что «кулаков» – он сочинил,
потешил племя вурдалачье.
Проспал Россию русский Бог...

Плывут на барках через Лаче
и Лаче-озера обок
валом валят...
Да сколько вас!
И деревень-то ваших нету,
одни-то пустыри сейчас.

Они воскресли по Завету.
Бредут по займищу пустому
обидищами Свидь-реки.
Понадобились развитому
социализму – кулаки...

Понадобится много муки,
прóклятой памяти, науки,
чтоб эти кулаки разжать,
чтоб эти трудовые руки
охулкою не обижать.

РУКА СОЧИНТЕЛЯ

Свои рукописные перебираю листки
и вдруг обращаю вниманье
на выраженье руки
и вижу, как верно рука проработана – и
рисую крестьянские руки – мои? не мои?
Чернила уже выцветают при жизни моей,
бумага поблёкла, но эта беда – не беда:
гораздо заметнее стала, гораздо видней
рука сочинителя – произведенье труда.

Как рад, что успел – что несметно порвал рукавиц,
как рад я, что в дело мужицкое всё-таки вник,
что сам,
от усталости на́ землю падая ниц,
я взял у земли – что не вычитал бы из книг!
И в первые руки и мимо чужого ума
начальное знанье она мне вручила сама,
и словно бы кровушка чья-то, свежа и ала,
от почвы отсыкла и в жилы вот эти вошла.
И, влажную тёплую землю сжимая в горсти,
я знаю – трескотинной кожи, ломотой кости,
блаженною радостью созерцанья труда:
кто землю вскормил – не обидит её никогда.

И кто хоть однажды бревно положил на бревно
(со звоном певучим и влажным ложится оно,
и знаешь, опять, как легло – по тому, как звенит) –
уж тот не обидит, не тронет и не осквернит
чужого труда.

Кто же землю мою разорил?

Уж верно не тот, кто ломил от зари до зари.

И кто же так бил по рукам, что сломил их в кости?

Прости мне – чья кровь в этих жилах!

Прости мне,

прости...

ГЕФСИМАНСКАЯ СОНЛИВОСТЬ

Чтобы славная продлилась
жизнь апостолов Моих,
гефсиманская сонливость
одолела их.

Тем же часом легионы
ангелов наготовё
трепетали полусонно
в голубой листве,

и в тяжёлом полудужьи
плыл Отцовский лик...
Никого не звал к оружию
наш архистратиг.

В голубом и зыбком свете –
как на дне реки –
разметались, спят как дети
все ученики.

Только... Только Иоанна
грудь как будто бездыханна
и чело темно.
То-то и оно!

Сим отмечен гений дивный:
чувствую спиной
взгляд горящий: ты единый
бодрствуешь со Мной.

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА

Ты был...
Ты рыцарь был –
всё отрок был –
за сорок –
твой самый чистый пыл
весь вспыхивал, как порох.
Твой декабрист-старик,
как старчище былинный,
срывается на крик
на площади пустынной,
где конного царя
с прибавкой пьедестала
ФИГУРА КОБЗАРЯ
УЖЕ ПЕРЕРАСТАЛА...

И старичок умрёт
от счастья речи вольной,
и тело приберёт
квартирный сердобольный...

Для беспризорных тел
есть под Загорском яма.
Ты ЭТОГО хотел
так долго и упрямо?

Единственный исход,
к несчастью, не выход.
Прости, мой Дон Кихот,
ты сделал ложный выпад.

НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ АРТПОЛКА

Ивану Фёдоровичу Набережных

Майора красит первый лёгкий хмель.
Майор смешлив, умён и в службе истов.
– Сержант Арсеньев, где у нас шинель,
украденная мною у танкистов?

(Подмигивает мне майоров глаз.)
– Не знаю, тащцмайор! – и это правда:
сержант не знает, где она у нас –
она давно уж не у нас... Назавтра

заходит разговор издалека.
Софизмами Арсеньев озадачен.
– Арсеньев, я служил у Ковпака
и не могу быть вами околпачен.

Но я могу предположить, кто вор,
и предложить пари, что на неделе
шинель найду... – Так говорит майор.
Но, говорит он, дело не в шинели...

– Так точно!
– Я из питерских сирот.
В тридцатых многие осиротели...
Детдомовцы – особенный народ,
но дело, повторяю, не в шинели.

– Так точно!

– Мы сиротская страна.

Мы – коммуналка и не красть бы рады...

И не шинель, Арсеньев, мне нужна –

мне нужен маленький кусочек правды.

Вы – семеро – разведка артполка –
интеллигенты в первом поколеньи.

Сержант, не лгите, служите пока
в моём отдельно взятом отделенье.

* * *

Ярославу Смелякову

Да, праздник. Незаконная слеза
невидимая, по щеке сползает.
Никто его не видит – заперся.
А кто его увидит – не узнает.

А знают что? Такой он и сякой,
к тому ж ещё угрюмый и гундосый.
Согнётся, будто в поле над сохой,
и рот заткнёт всегдашней папиросой.

В газете напечатает стишок
и в рукописи чистый лист оставит,
а между делом за вершком вершок
в историю российскую врастает.

В истоке речь славянская пряма.
В итоге старость неисповедима.
Но что душа произнесла сама,
с тобою сбудется необходимо.

От века судьбы русские всё те ж:
душе живой иного нет исхода,
как первая любовь её – свобода,
как поздний праздник зрелости – мятеж.

Прекрасно, Ярослав Васильевич!
Пошёл – так и пошёл, как оступился.
Улышат – не поверят: что за дичь...
Не вышел – помереть поторопился.

Портреты. ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Там, где Садовое кольцо
легло на белые сады,
я угадал его лицо –
я целовал его следы.
На Лира не был он похож –
не те печали-времена, –
классических подобиЙ ложь
оригиналу не нужна.
Зелёный свет! Рысцой-трусцой,
не глядя, по своим делам...
Но я увидел, как

Варлам

Шаламов

шёл через кольцо:
глазниц полуночная тень,
проваливающийся рот...
Он шёл через московский день,
сквозь кольцевой водоворот.
Пустоты тела и углы,
и полы с ветром пополам...
На сочлененья и узлы
пойдёт любой железный хлам,
и примет каждая щека
по вмятине от кулака:

твоя натура, потрудись,
твоя пора, авангардист.

Исканьями переболев,
увидим как-нибудь и мы,
что этого лица рельеф
хранят ущелья Колымы.
Итоги классовой борьбы
невпроворот и невпродых:
надсмотрщики и рабы
тридцатых и сороковых...
Безбожный труд пойдёт невпрок,
вернётся золото в песок,
и встанет горла поперёк
у нищих отнятый кусок!
За двадцать лет в колымском рву
мне столько счастья раб нарыл,
что кровью харкаю и рву
промежду хрюкающих рыл!
Неумирающий конвой
внучат и правнуков растит,
и тяготееет над Москвой
непобедимый срам и стыд!
По тихим улочкам её
гуляет с палочкой, в пенсне
мемориальное трупье –
не наяву – и не во сне...

В приюте обмели углы,
иконку положили в гроб,
потом зарыли кандалы
поглубже, чем в колымский ров.
– Помилуй душу и спаси! –
Варламия-еретика
отпели ангелы Руси,
и приняли её века.

Надгробных не было речей –
он так хотел – и в крайний час
от слёз и фраз и стукачей
избавил и себя и нас.

Портреты. ЕГО КРЕСТОМ

У кратовских дач
встретил меня закадычный стукач.
Ю. Фидельгольц

Три века: до и въ и после,
читай: тюрьмы, тюрьме, тюрьмы,
мы с ним друзья, и нам на пользу,
что так живём и дружим мы.

Три века! Крепко, закадычно:
– Как ты на мне разъелся, вошь!
– Ха-ха!
– Как, генерал, живёшь?
– Нормально, Юра, КЭГЭБЫЧНО.

Я перед ним – что шерсти клоч
(как странно: стыдно перед вором).
Домовой церкви куполок
торчит за крепостным забором.

Когда настал Большой Хапок,
мой капитан подсуетился –
отстроился, потом крестился –
и в генералы бог помог:
– Ха-ха! – И зубки грызуна.
– Живём! – И смотрит живоглазо.
Краснофигурная стена,
за ней его блатная хаза
его крестом осенена.

ПРОШУ...

Прошу меня расстрелять...

Анна Баркова

Хоть искрошите в сорок сабель,
но не сегодня, а потом –
так прокурору пишет Бабель,
прозаик и шпион притом.

А лучше посадите на кол:
мне надо смерть мою продлить –

ЧЕРНОВИКИ ПЕРЕБЕЛИТЬ!

Так он хохмил, молил и плакал

(или не так), но те моленья
архивы нынче не таят.

Однако прячут заявленья
в писательский секретарьят...

Я полагаю, это значит:
не всё погибло, господа,
коль власть, наглея, всё же прячет
остатки страха и стыда.

«Прошу – и вся-то недолга! –
вне очереди предоставить
мне ДАЧУ ПОДЛОГО ВРАГА...»
Всё те же вы – чего лукавить?

ХРИСТОСИКИ

Арабу Хоснию Мубараку
за рифму благодарен я.
Когдаймаешь вора за руку,
он отопрётся: не моя!

Тогда с постыдною поспешностью
ты сам же прочь бежишь, как тать,
перед ужасной неизбежностью
ему по совести воздать.

У Хосния детишки Хосники
и жён несчётно – красота!
А мы, стыдливые христосики,
произошли не от Христа...

...И снят оклад, и с мясом вырвано
старинной ризы серебро.
В чулан заброшен образ Тирона
как непотребное добро.

Богатого от небогатого
угодник сей не отличал,
а брал за ворот вороватого
и перед Богом обличал.

Страна разорена и продана.
Торг в алтаре, в чести жульё –
затем что Тирона Феодора
не чтит отечество моё.

МОЁ ВАМ

Никогда до сих пор, полагаю, так
не был загажен алтарь Минервы.
Бродский, 1968

Соотечественники, полезно знать,
что в 1935 году от Р.Х., в апреле
появился указ о детском расстреле –
его следует переиздать.

Юридический шлягер, творение ЦИК–СНК.
Комиссаршею Крупская там подвизалась Н. К.
и радела о детях... Указ отменили?
Позабыли? Приостановили?
Неясно пока.

Только спрятан указ, как бересклет в лесу –
скромные такие серёжки, лесные перлы.
Ах, не одну уронил я слезу
на обесславленный алтарь Минервы!

А понтифики Марса – тут крови моря и моря –
бестолково толпятся вокруг своего алтаря
и не вспомнят о детском указе.
Вот он в бедном моём пересказе.

ГРАЖДАНЕ ОТ 12 ЛЕТ,
несовершеннолетние и, тем не мене,
изобличённые во вредительстве, либо измене,
либо... И К СТЕНКЕ! Вот такой бересклет.

Так что, гг. министры и г-н президент,
пока ребятишки в войну играют,
не спите – используйте прецедент:
путь их, малолеток, по фронтам разбирают!

Меня надоумил не телеэкран –
нехватка и качество ракетного мяса, –
я сам артрязведчик и ветеран,
который при Сталине ещё призывался.

Министр войны, вы ходили под стол пешком,
когда в гороховецких песках я плавал с теодолитом,
а вернулся – с одышкой, с посошком –
рядовым советской армии инвалидом.

Инвалиды, человеческий хлам...
Хлам, который уже ни черта не боится.
...Обгорелых, оглохших, разорванных пополам,
на гремучих тележках своих – ты помнишь, столица?

Как они матерились, качали права,
как стрелялись, не осилив судьбы...
Всех сгребли, прочесав победивший народ,
как паршивую клячу скребницей,
всех калек разбросали по лагерным зонам, дабы
их бесстрашием не соблазниться.

Как я брезговал ваших загребущих лопат!
Санитарных собачьих облав,
голубиных дьявольских всасов!
Я с младенчества не признавал над собою и над
безответным народом моим – ваших иродовых указов.

Но. Являясь ответственным гражданином страны,
что измазала морду кровавее, чем в Афгане,
я живу – я умру в ней. А нынешней вашей войны
я не знаю бездарнее и поганей*.

Май 1996

* Теперь знаю. Май 2000.

НАПРЯМИК

С. И. Липкину

Переведу ямбом чеченского волка вой,
в стену стучась бетонную повинною головой.

Грустно, Семён Израилевич, плохи наши дела.
За полночь еле-еле вылезешь из-за стола

письменного (кроме круглых, «покойных»,
прочих иных
ещё сохранился письменный в эпоху пиров чумных).

Переведу хоть этого, хоть того Шамиля...
Волчий след – сквозь горбатые оло́нецкие поля –

след прямой и глубокий – рубанули сплеча –
след, подобный удару архангелова меча –

ГЕРБОВЫЙ СЛЕД... Так в юности прямо через квартал
через заборы и стены лез и перелетал –

ночью прямо по курсу выбрав себе звезду...
ВОЙ ЧЕЧЕНСКОГО ВОЛКА ЯМБОМ ПЕРЕВЕДУ.

НЕДАРОМ

Гарант гарантировал 300 смертей
детей, матерей и отцов. **НО ДЕТЕЙ!**

Доподлинно 300 и 31
в Бесланскую летопись занесена.

Трудись, летописец, покуда не сшиб
тебя заказной бронированный джип,
лиловый, как слива, и чёрный, как ночь –
и ты от такого подарка не прочь.

Везёт нам и в жизни и в смерти порой:
ты будешь в веках 332-й.

Дерзай же и веруй: Господь справедлив.
Недаром у ночи лиловый отлив.

Свечу погаси, чтоб сияла звезда.
Умрёшь ты недаром: **УМРЁШЬ СО СТЫДА.**

* * *

Фазлю Искандеру

Пловец, который плавает с умом
и любит штормовое многоборье,
из моря выходя, в себе самом
и на себе самом выносит море.
Хорош, но чем-то неприятен мне
летающий на волне и по волне
скользящий – так владеющий уклоном,
что выскочит сухим и несолёным.
Зато воистину прекрасен тот,
кто с мальчиком слабеющим плывёт
к береговым чернеющим отрогам
и не интересуется итогом,
затем что абсолютный интерес –
дыхание... движение... мгновенье...
покуда свет сознания не исчез,
пока внимательное вдохновенье...
ещё... ещё немного... А потом –
и ты моё Евангелье продвинул:
разделался с тем трусом и скотом,
который лодку вашу опрокинул.

ДВЕ СТРОКИ

Я загадал на Тебя.
Вот что сказал мне Исая:
ИЛИ СПАСЁШЬСЯ СПАСАЯ,
ИЛИ ПОГИБНЕШЬ ГУБЯ.

Много чудесного знал
сын прозорливый Амосов,
но посторонних вопросов
я ему не задавал.

МАРТ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ,

весёлый марток.

Следи по-над настом струение света
да передохни: прошибает поток,
снутри подпекает – не надо и лета –
тепло от залатанных ватных порток,

а то от чего же?

Струющийся свет
ложится смерзающей синевою
в тени от постройки.

Но как ты одет,
нелишне сказать, не последний предмет,
да шапку надень, не остынь головою.

Галоши, натянутые на пимы –
клеёные-красные. Ихние рыла
как рыла соминые, только сомы
усато-черны – и бульдожии брыла.

Порты.

Осоюзены кожей порты.

Порты всероссийского кроя и цвета.

Садись хоть в костёр – не поймёшь теплоты
залатанным задом – ниже мерзлоты –
хоть наста, хоть каменной этой плиты,

да я говорю,
мол, не надо и лета...

Ну, ватник, ну свитер.
Ну, свитер – статья
своя... Чей крючок, чьи там слёзы и ахи...
Как стих, грубошёрстна кольчуга моя
и столь же вынослива, как амфибрахий.

К полудню – без ватника, весь налегке...
Топорик своей неизменной улыбкой
поблёскивает и лежит на пенке
и зыблется чуть, потому что в р е к е –
уж я говорил – кудреватой и зыбкой,
по настам...
И зимняя крепость в теньке.

Дробится с утра, а за полдень бревно
податливо, врубчиво...
Рубишь как репу.
Зато не поёт уже так, как должно.
Повыберешь паз и с у х а р ь для укрепу.

Но – в сторону, ладно, щепу-канитель!
Зачем эта плоть так бела и красива?
Затем, что она –
РЕЗОНАНСНАЯ ЕЛЬ,
что белым песком вспоена древесина.

Те нейские сахарные пески
так шёлковы, так ослепительно белы,
что их укрывают и кутают мхи
от лишнего света –

так я на Тебе бы
всё сбитое-скомканное поправлял,
от первых лучей наготу укрывая...

Да-да... Музыкальный такой матерьял...
Его изначальная плоть стволовая...
О чём это...

Струноподобная ель
не преобразится уже, безусловно,
ни в скрипку легчайшую, ни в вьолончель...
Что ж будет?
– НАДКЛАДЯЗНАЯ ЧАСОВНЯ.

САМ!

Вы правы, правы, но не дай
вам Бог испытывать на деле,
чтоб донимал вас негодяй
и не годился для дуэли.

«Будь выше сплетни» – я бы мог...
Нет, не могу: ведь речь о Даме –
как – Даме – на спине – годами
носить серебряный плевок?

«...И никогда не делай сам,
что должно слугам предоставить», –
но, Бог мой, свет мой, Александр
Сергеевич, не Вам лукавить! –

Сам! И срываешься на крик,
ничем иным не озабочен:
да не сотрёт Твой клеветник
со щёк следы моих пощёчин!

ЭТИ КОЛЬЦА

Смиренье, смирение, смирение.
Всё прошлое перебелю.
Смирненное стихотворенье
придумаю, что не люблю.

Отрину больное и злое...
Мне ангелы весть подадут
о том, что Тебя к аналою
насильно сейчас поведут.

Смиренье! Но вестник ошибся,
ошибся мой ангел весьма:
с лицом жёлто-серого гипса,
в смирительной робе, сама –
«как странно невесту одели» –
сама жениха Ты ведёшь...
Тогда в полутёмном приделе
почудится внятное: ложь.

Так вот как закончилась драма...
И я, полумёртвый, уйду
из этого скверного храма
и женщину не уведу.

Смиренье... Но вздыбится паперть,
как палуба, встанет стеной –
и бурная Бездна-праматерь...
Но крики! Но вопль за спиной:

Твоё – в ослепительном круге –
лицо! – и меня захлестнут
родные, любимые руки –
жила ради этих минут!

Твой смех сквозь рыдания рвётся,
мелькают комочки-платки...
Никто не порвёт эти кольца –
объятья в четыре руки.

ЕДИНЫМ ДЫХАНЬЕМ

С бегучей искрою малиновые голыши,
железные проймы дверные от инея белы:
снаружи мороз... Столько сразу всего для души
от собственной смелости и простоты оробелой...

Неистовый жар из сучков выжимает смолу.
Дыши через веник. Он пахнет ангарской пихтою.
Вверху – невозможно... На корточках на полу
зажалась в комочек, прикрытая лишь смуглотою.

Слегка на прозрачные камни плесну из ковша –
вода в этом пекле от ужаса воспламенится! –
жар вылетит из камелёнки, клубясь и шурша:
– Тебе это снилось когда-нибудь?
– Мне это снится.

А полдень – Эллада морозная! Мы разошлись
с толпою так круто: сегодня мы – пара мишеней.
– А что, я вернул тебе девство?
– И детство! И жизнь! –
Смеётся довольная. – Тише, не делай движений.

Сюда... молодец... узковат этот жгучий поллок...
и воздух тут... неприкасаемый, просто железный...
Дыши Ангарой: я с тобой был всегда, видит Бог,
но лёгкости не было этой – почти бестелесной...

Ты видела Индию предков, любимого ты
искала и в термах, и в страшных гемониях Рима...

Ты здесь. Я слепой – я не вижу твоей наготы.

– И я... Не поверишь – совсем!

– Потому что любима.

Роса выступает... Оденься в тепле не спеша.

– И всё? – и смеётся.

– И всё. Я тебя нарисую,

как только прозрею. Без красок и карандаша –

единым дыханьем. Иные художества – всуе.

Ты здесь, эту страшную зиму собой освятя...

О Боже! И я наконец до Тебя докричался!

...А лучше – простынку накинуть, прижать, как дитя,

и так бы нести бы – до самого смертного часа...

ТВОЙ СОН

Как будто мы с Тобой в соборе –
знакомый: Шартр? или Дом?
Народ на площади. Идём
в пульсирующем коридоре,
в толпе...

Вдруг! нефтяным огнём –
КОСТЁР! Костёр мне снится часто.
Но вместе мы – какое счастье –
рука в руке...

Но я – одна!
А Ты в толпе – ТВОЯ СПИНА...

И стала бы я вдруг – старуха.
И нет мне радости – гореть...
Что это? Милый мой, ответь.

И он сказал: ХУЛА НА ДУХА.
Любовь – и вдруг такие сны?
Ты предаёшь меня. Неправда,
что мы в сомненьях не вольны.

И стал лицом чернее мавра
и отвернулся от жены.

САД ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Свобода, солнышко, покой.
Зелёный домик над рекой.
Летит дыхание реки
сквозь яблоневый сад.

На белых яблонях висят
мои клеветники.

Под яблонями, как в раю,
гуляют клеветницы,
процеживая жизнь мою
сквозь зубы и ресницы.

Один тяжёлый клеветник
подвешен мною за язык.
Он принимает форму груши,
он производит звуки «му»,
когда я говорю ему:
не лезь в чужую душу.
Не бди с фонариком в ночи.
На мёртвого не клевети.
Не прикасайся к тайне.
Не делай из неё хулу.
Не стой с товаром на углу.
Читай Христа и Хайнэ.

А на могиле у того,
чьего плевка не стоишь,
у друга моего, –
ты на колени встанешь.

СПАСИ И СОХРАНИ!

И вот – она. И с нею – он.
Сошли по лестнице. Ступеней
четырнадцать. Их счёт сочтён.
Капризы вечных совпадений:
все числа, кратные семи,
всегда мои – мои семиты...

- А руку всё-таки сними.
Да, с талии.
– Что?!
– Да сними ты...
– Да как вы сме... Вы кто такой?

Моя рука с его рукой
срастаются в рукопожатье.

- Твой брат. Мы более чем братья,
кто мы, любимая?

Подъезд
взгремел в семь ярусов. The rest
is awful... Кровь? Как это пресно...
Всё это было... Неизвестно
другое: что – она? она!..

Здесь прерывается созна...

– Мне жизни без тебя не надо! –
кричу *оттуда*.

Тьма и чад.

А наверху молчат. Молчат.

Спускаюсь по ступеням Ада.

А он? Он зверь... Горят ступни.

Молчат.

– *Спаси и сохрани!..*

ЕСЛИ НЕТ ЕЁ

В день последний в декабре
я забыл Её.

В алтаре как в алтаре –
сушится бельё.

Двадцать минуло веков.
Грустный юбилей:
нет Твоих учеников,
рабби Назарей.

Никакого нет закона,
если нет Её.

Перемёрзлое до звона,
складчато-белоколонно
светится бельё.

Свод обрушен,
звёзды в храме.

И внезапными слезами
захлебнулась тишина –
как Персидская Княжна! –

нет, не Волгой молодой,
не студёною водой,
но обидой нестерпимой.

Стой, разбойник.
Так и стой
в лапах с мёртвою Любимой.

ВЗГЛЯД

Бросок налево – и башка направо.
 Бросок направо – и башка налево.
 Волк мечется, но голову несёт
 недвижно. И на вас взирает здраво –
 толпящихся бесстыдно и нелепо.
 В глазах прозрачных красноватый лёд.
 И не сморгнёт.
 И так весь день...
 Там просто
 такое хитрое гирустройство
 на месте мышц и шейных позвонков,
 что – выстрели! – когда летит
намётом –
 и пятерной кульбит пять раз намотан
 на взгляд – в тебя – недвижный –
 он таков,
 недвижный взгляд:
 в тебя войдёт и выйдет –
 не видя – и на волю и насквозь.
 Тебя он даже и НЕ НЕНАВИДИТ –
 обидно, да? Хотя бы глянул вскользь,
 как то умеют мужи и вельможи,
 чьи мысли чем-то высшим заняты,
 и взор их отуманен...

те скоты,
что и под бледным гримом краснорожи.
Так я мечусь.
Мой взгляд – вовне.
Вовнутрь –
мой вой.
Вой от кромешной боли.
Забудусь к ночи –
при начале утр
мой взгляд – ТУДА,
В НЕВОЛЮ ИЗ НЕВОЛИ.
И клеть моя простёрта от Москвы
до Соловков –
и, взор недвижно впéря
ТУДА – и мимо прочей жизни – ВЪ
НЕВОЛЮ ТАМ, –

я понимаю зверя.

1997

РАКИТА

В откос правобережный,
в упрямый косогор
заречный ветер свежий
с разгона бьёт в упор.

В упор ему кренился
и дерево – идёт...
Отчаянно искрится
серебряный испод.

Кренясь, идёт к обрыву
по красному хрящу.
За эту душу живу
как лист я трепещу.

Вся жертвенно раскрыта...
И в небо – в честь Твою –
Твоя взлетит ракета
оттуда, где стою.

Ей просто невозможно
по осыпи сползти.
Мне страшно, мне тревожно.
Но я с Тобой. Лети...

с. Бахмут

КОВЫЛИ

Такая выходит разлука.
Никто нам не может помочь.
Полгода как старая сука
в воротах лежит день и ночь.

Всё тише дыша, цепenea,
лежит, но хвостом шевельнёт,
когда поравнявшийся с нею
прохожий невольно вздохнёт.

Всё жальче, плешивее, плоче
становятся день ото дня
её клочковатые мощи.
Такая мне вышла родня...

Тебя не столкну я в канаву –
пока прикопаю в снегу,
а после ты ляжешь по праву
на волжском крутом берегу.

Тот берег – земля меловая.
Белы, как дыханье земли,
обступят тебя ковыли,
метёлками в лад помавая.

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ХРЯЩ

Жара. Сады занемогли.
Дышать! Земля раскрыла соты
и трещины в разводах соли,
где слёзы майские текли.

Правобережный хрящ высок.
Над пропастью ковыль белёсый.
Хрустальный раскалённый восток
дрожит над кромкою откоса.

Ей вровень ястребок парит
в широкой раковине ската.
Простор за Волгой говорит,
что здесь я был... давно когда-то.

Вот осокорь, седой, как пшат.
Ручья иссохшее изложье.
Валун в сухое русло вжат –
как я в мой бред – десницей Божьей.

Едва качаясь и скользя,
мой ястребок стоит на взмыве...
Ну что ж... Я знаю, что НЕЛЬЗЯ
ТАК ЖИТЬ, КАК НАДО: НА ОБРЫВЕ.

с. Бахмут

МГНОВЕНЬЕ СЛАБОЕ

Гляжу на безобразье сброда:
р а с п н и – вот ясная нужда.
Отец небесный, нет народа
и не бывало никогда.

Меня гнетёт их помраченье,
их немладенческое зло.
З а н и х погибнуть – тяжело.
Горька, Учитель, соль ученья...

Здесь ничего вместить не могут
мозги Матфея и Луки.
Здесь останавливает омут
теченье ясное реки.

Ленивое веретено –
и неизбывное одно
вытягивается мгновенье,
и сладок обморок сомненья.

Всё бесконечно всё равно
частице тёмного круженья.

...Вперёд, мужи! Во имя братства
и милосердия впереди!

Теперь
 спокойно
 перейди
горы сутулое пространство.

Отец, прости мне святотатство:
мгновенье слабое прости.

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ

На месте нежном и укромном
при обстоятельствах иных
прочсть возможно: No problem
пониже бугорков грудных.
И в милицейском протоколе
записано при понятых,
что всё обман и гадость в школе,
что всех не переловят их
и что страмить других бы надо...
Но чьи теперь смутит умы
дитя всемирного распада
и всесоюзной кутерьмы?

А вот что сказано в письме:
в моей родимой Костроме,
чьё имя славится кострами,
сгорел архив в соборном храме.
Столетий восемь взметено
через замковое окно
за два часа – единым махом!
И Кострома оделась прахом.
Над городом нависла туча
и, сопрягаясь как мозги,
осмысливала этот случай:
да как же это вы смогли...

Да так... Виновных отыскиали:
мальчишки голубков пускали,
проёмы не застеклены,
приделы глухи и темны...
Кому нужда в архивном соре!
Как в домне, гуд стоял в соборе.
Провинциальное звено
в таких делах закалено.
У них-то не горят палаты...
Так с кем же, дурочка, спала ты?
Где протокол? Чёрт уволок.

Пришли и смотрят в потолок.
Впервые посетили храм,
похлопали по чёрной жиже,
вполне бесстрастны и бесстыжи,
как и положено вождям.
Кромешной огненной бурей
здесь выжжен весь
Никитин Гурий.
Что знает горстка пустомель
о славе северных земель?
По саже поскребли: извёстка.
Ни Бог, ни мир им не судья.
Тому свидетельство – статья
«О воспитании подростка».

ПРОТЯНУТУЮ РУКУ

Евгению Евтушенко

Я помню -надцать лет назад
счастливейшего человека.

– Что? Написал поэму века?

– Ха! Пропустили «Детский сад»!*

(Там Евтушенкины друзья
идут в колоннах ополченья,
и крайний справа – это я
с лицом, исполненным значенья).

И, как ликует сад детей
при появлении Дедмороза
с мешком игрушек и сладостей,
ты ликовал.

Но тут заноза.

Из очереди в гардероб –
а дело было в ЦеДеэЛе –
довольный, праздничный,
отселе
сходящий, как Державин в гроб,
ты руку простираешь, чтобы
благословить младых...

* «Детский сад» – фильм Евтушенко о войне и детях. У Сергея Гандлевского в «Трепанации черепа» описано не то и не так, как оно было.

И что бы
вы думали?
Мальчишка-сноб
ему протянутую руку –
на дружество, на жизнь, на муку –
выкручивает...

Что за бред?
Выламывает...

Что за время!

Нет...

И сейчас кричу я:

– Нет!

Несчастное младое племя,
не знавшее великих бед.

– Вы не поэт! Вы не поэт! –
И не от боли бледен Женя.

Какие дикие сближенья:
благополучный детский сад
мог вырастить таких волчат...

ДОЧЕРИ КАТЕ

Опилочная каменеет грязь,
и дремлют на приколе лесовозы.
В лесу свежо и тихо. Ободрясь,
душа опоминается от прозы.

Ломаю звонкий утренний ледок.
Октябрь – ноябрь. Серебряной порою
я наконец-то ничего не строю,
не затеваю. Нероботь, ходок.

Слежу, как льдом становится вода,
торчу над замерзающею лужей,
соображая битый час досужий,
как трудится внутри изнанка льда,

где в анкерные стяжки и прожилья
воплощены разумные усилья –
и чёрно-белый ледяной витраж
Катюшке в Рим пошлю – такая блажь.

* * *

Пёс ждёт хозяйку, а хозяйки нет.
Хозяйки нет уже 17 лет.
Собачий век, по счастью, не длиннее,
и пёс приходит на аэродром –
сидеть и ждать. На месте. На одном
и том же, постепенно камня.

Ваятель выбрал серый диорит,
который нам о вере говорит,
о беглых проблесках в ночном ненастье.
Очнулся, и покажется со сна:
ОНА! О Господи... Нет, не она.
А сердце разрывается от счастья.

Когда-нибудь, в невероятный год,
но к статуе старуха подойдёт,
запричитает, будто улета
и ненадолго и недалеко...
И вот когда свободно и легко
выходим мы из камня и металла!

НЕ ОПОЗДАЙ К КОНЦУ

Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил.

Фет

От тараканов озверелых
в сиротском доме престарелых,
от старости и от тоски
одно спасенье – Соловки.

В деянии простом и важном
в оранжевом ремне монтажном
на колокольной высоте –
по вздрагивающей черте

скользи, скользи, канатоходец:
весь полон высоты колодец.

Неволю жизни отлюбя,
не опоздай к концу. Сегодня
ты в руки предаёшь Господни
трудоспособного себя.

ЭТАП

Колченогие берёзки –
доходяги, недоростки –
ход понурый и кривой
кромкою береговой.

По-над мысом для порядку
им велят плясать вприсядку,
подбодря матерком,
скатываться кувырком.

Из последнего терпенья
еле тащится этап,
на лишайниковой пене
оставляя алый крап.

В Зимний берег волны бьют,
и последние берёзки,
переломаны и плоски,
вжались в грунт и не встают.

Соловки, мыс Колгуев

НЕУСТАННО

В келье стол, топчан и стул.
Каменная тишь. Снаружи
два на два – отдельный стук.
– Да, войдите. Да!! Да ну же...

Гость стучит: кресты кладёт,
и без трёх крестов надверных
в эту келью не войдёт
ни один из благоверных.

Дверь тесовая, с волчком –
сотка, с проймами, сплошная...
Пролезает гость бочком,
крестит стены, объясняя,

что кропить и осенять
надлежит их неустанно –
неустанно изгонять
призраки СЛОНа и СТОНа.*

* СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения; СТОН – Соловецкая тюрьма особого назначения.

СВЯТЫЕ ВОРОТА

Олегу Васильевичу Волкову

Соловецкие острова.
Человеческие слова
не слышны.
Не нужны.

Откололась ржавчина от
монастырских Святых ворот,
что вмурованы в валуны
крепостной стены.

Плотно-дóчерна, как слюда,
на года намёрзли года.
Устюжанским узором лёд
обметал полотно ворот.
То куржак, то слёзный накрап
оставлял, проходя, этап.

Вот они – на душе душа.
Вот и всё, что нам надышал
и коростой оставил тут
соловецкий работный люд.

Тяжела ржавь-руда,
как тяжёлый шаг.
То-то рвёт провода
голубой куржак.

Соловецкие острова.
Человеческие слова
не слышны.
Не нужны.

Кто из нас – без вины?
В те ворота – как в ад:
виноват.
Виноват.

* * *

В. Курбатову

Не поддался на переков
главный колокол Соловков.

Через пару конвойных миль
он шпангоуты проломил

и ушёл, утопив конвой,
и повис над морской травой,

и висит, не дойдя до дна,
соловецкая тишина

от него
одного.

АНЗЕР, ГОЛГОФА

Ночью виден огненный серп
с ангельской высоты.
Утром костры пойдут на ущерб
и превратятся в кресты.

Надо щебнистую мерзлоту
на три штыка отжечь.
Ангельскую возьми высоту
иль Архангелов меч.

Должен быть меч по руке.
Нет – не бери его.
Было тело на третьем штыке
живо или мертво?

Это санитарам видней.
Рвы при дороге – встык.
Мешанина костей и корней
при СВЯТАЯ СВЯТЫХ.

Материнский храмик у ног
Христораспятского. Но
Распятый – Бог он или не Бог –
матери всё равно.

Что это? Рокот дальней грозы
или стон изнутри?
Где чернец читает Часы
от зари до зари?

Это норд-ост ноября
служит службу свою
в трещинах и свищах алтаря –
грозную литию.

КЛИНОК

Николаю Герасимову

В какой-нибудь укромной мастерской
клинок зеркальный выделан такой,

что чуть дохни – дыхание твоё
подёрнет радугою лезвиё.

Какая линия! Так изваять
телеснокостяную рукоять,

чтобы её не слышала рука,
могла одна колымская тоска

по женщине любимой... Но за так
ножей не отдают: гони пятак.

Полуденная тундра, и вдали
простор дрожит, как люстры хрустали.

Сияет фирн, слезится лёд, как ртуть,
и ты ослеп на миг, и соскользнуть...

И заскользил... Но в склон клинок вонзил,
впился, вцарапался – затормозил.

Отделался мгновенной сединой...
Храни всегда мой оберег стальной.

Такая линия, так изваять
телеснокостяную рукоять...

Однако спас тебя колымский нож
не потому ль, что был под рёбра вхож?

Подталый снежник, Северный Урал...
И я не раз от страха умирал,

вообразив такую гладь с горы –
такую гладь с горы в тартарары.

ПУШКИНСКОЕ ДАВЫДКОВО

*Александрю Бурлуцкому,
подвижнику широкого профиля*

Вся домна зиждется на пне.
Покоится же пень кессона
на праморском гравийном дне
незыблемо и безусловно.

Геолог скажет, сколько тут
миллионов лет по вертикали.
Сегодня домны не растут...
Я не к тому, что мы пахали,
а больше, собственно, к тому,
что и сегодня тоже пашем –
и я зимую в терему,
где печь сложил как ЭЙНШЕНТ РАШН.

Под скрип гусяного пера
туманным взором скат объемлю...
Мой пень поменьше: полтора
на полтора и два под землю.

Печной фундаментальный пень
закладывается из бута.
Художественная работа:
сложить двухъярусную печь

в два полных этажа, притом
с лежанкой детской на втором!

Когда-то были печники...
Мне попадались черепки
Екатерининского века.
Раскоп – моя библиотека.

Фигурный динас, изразцы,
глазурь голубизны небесной,
фаянс певучий... Кто ты, рцы,
печной ваятель, гений местный?

Здесь Пушкин, хоть не Александр
Сергеевич, а Юрий Львович,
глядел с лежанки в зимний сад –
как я, безродный Леонович*,

гляжу, и не сулит конца
благое дело созерца-
ния дерев – им лет под триста –
могучих лип полукольца.

Морозно, радужно, искристо.
Где огорода голый скат,
воображаю белый сад
сто лет вперед или назад,
экскурсовода и туристов.

Январский полукруг зари
мне шлёт сквозь ельник тонкий лучик.
В пушистых ветках снегири,
как личики Бурлуцких внучек.

Дед бородат и синеглаз.
За ним – Урал, Кубань, Кавказ,
полярный Врангель – полстраны
обжиты им. ИМ СПАСЕНЫ –

* Не совсем так: мои прабабки по отцу – Янцевич и Мицкевич.

так я свидетельствую в вышних
без объяснений, делу лишних –
БУРЛУЦКИМ ЛИЧНО СПАСЕНЫ
ОТ ВЛАСТНОЙ ВРЕМЕННОЙ ШПАНЫ
ЛЕСА И ВОДЫ, ПТИЦА И ЗВЕРЬЁ,
НА НЁМ СТОИТ ОТЕЧЕСТВО МОЁ.

Заботника и знатока земли
не подстрелили, не сожгли,
и ни потравы, ни покражи
не знал его глухой кордон,
зане СПАСАЮЩИЙ – СПАСЁН.
Его не посадили даже!
Не встретил на тропе варнак.
Жив праведник! – такое диво
в стране родной боголюбивой,
но плотоядной... Добрый знак!

Стареют липы. Нижний сук,
как старика забывший внук,
живёт отдельно, на отшибе
от опустелого ствола.
Вся жизнь в него перетекла,
а смерть живёт в сухой вершине.

А эта липа – сколько лет
устремлена на зимний свет?
Упрямо по диагонали
кренясь, как будто на бегу, –
как лошадь в цирковом кругу,
куда бичом её загнали.

Кольцом аллеи стеснена,
упрямая – живёт навывлет.
Зима проходит... Где Она?
И нет, и нет... Меня осилит
разлука.

На дворе весна.
Апреля первая капель
и тайный и беспрекословный
запрет: на выстрел, на дуэль...
И что же будет? Будет сломанный

косой перестоялый ствол?
И мой четвероногий стол,
как пёс больной, меня покинет,
когда Она мне сердце вынет?

И всё? Как, всё? Что делать нам?..
Мне – в том запрете – мять лежанку,
угадывать по временам
пейзажа зимнего изнанку.

Изнанка Солнца – тьма и тьма –
не дай мне Бог сойти с ума...

Придёт июнь, число шестое,
и забурлит и запестрит
твоё Бурлуцкое застолье.
Нам Пушкин тьму заговорит.

За Пушкина мы выпьем стоя.
С ним хорошо нам на земле.
Ты видел деву на скале?
Вот то-то! Прочее – пустое.

* * *

Серебряный тяжёлый кубок
похож на колокол молчащий.
Кто я? Что я?
Я без неё – обрубок
кровоточащий.

А кровь, свежа и горяча,
и рвёт, и рвёт фибриновые пути...
Кто эта женщина?
Дитя минуты.
Несчастливая,
ничья.

* * *

Ручей сочился между кочек,
сочился дождик обложной,
и певчих, сжавшихся в комочек,
переносил я по одной.

Нам предстояло освященье
моей часовенки в бору.
Никак не выказав смущенья,
девчонку на руки беру.

Последнюю беру на ручки –
она всех меньше, я устал,
но чувство дедушки ко внучке
впервые в жизни испытал.

Его-то мне и не хватало
до совершенной полноты...
Ты чувства нежные считала,
их было много... Где же ты?

Я к вам приду из этих строчек
сквозь хлябь и дождевую сить
озябших, сжавшихся в комочек –
переносить, переносить...

* * *

Отделённый сумраком от земли,
бор не опирается на комли.

Будто рукою лёгкою взнесены
заповедные стройные три сосны –

будто едина плоть одного комля.
Всё принимает лес и несёт земля.

Троелучица бора, хоть ты прими
человека, простёртого на земи.

Тесный золотоствольный свободный ритм.
Небо повечерело, звезда горит.

Чистый – как подмели – угор моховой
над озёрной сонною синевою.

* * *

Работа разрывов, разлуки труды
вздирают коростовый слой до руды.

Где бор золотой? Где сиротский колок?
Прошла борозда борозды поперёк.

Надрался и скалится крюк-шпалодёр,
чей дьявольский изобретатель мудёр.

И гибнет и дышит последней листвой
повал поперечный, повал долевоу...

За рваным туманом – косые кресты
с отлётной, ненастной моей высоты.

ВЕСНОЮ ПОЗДНЕЙ

Меня похоронили малoverы
в дешёвом склепе сплетен и клевет –
меня колышут не такие ветры,
и корни держат не такие – нет!

Мыслители, могильщики, пророки!
Деревья живы на три стороны –
так светом вскормлены, так разнобоки.
Я попрошу: не стойте со спины.

Да не жалейте – вы – меня: я встану
из гробика готовенького, чтоб
сработан был, как древле Иоанну –
просторный и крестообразный гроб!

Перегорев и перетлев душою,
с самим собой, с природою правдив,
я грянусь оземь – дерево большое –
весною поздней, в листьях молодых!

ЛОДКА

1

Сэде Вермишевой

Здесь омут от страха недвижим и чёрн,
а берег замшел и расщелист,
и зубом базальтовым звук рассечён
на грохот внизу – и на шелест.

Всё плёсо, натянутое, как батут,
зеркально-полого и ровно,
и лодка причалена именно тут –
и нет никакого Харона.

Ты – сам.
И тебя понесло-понесло
чуть согнутое водяное стекло.
Ложись, как индеец в каноэ,
и руки скрести, чтобы дух вознесло
куда-то во что-то иное.

А нет – так греби!
Да не жизнь дорога,
а песня твоя не допета.
Греби же –
по ходу –
к чертям на рога!
По ходу – и перелетаешь – ага! –
в то ложе, где гложет свои берега
и камни ворочает Лета.

Александру Зорину

И православный тёмный плат
не удержал Господня Дара:
как некий райский водопад,
как золотая Ниагара,

как лавы жаркая волна...
Тихонько вскрикнула девчонка!
Летит мне под ноги
одна
заколка – чёрная лодчонка!

Избытку храмовых прикрас,
огням, столпам иконостаса
пришлась ты в масть и в самый раз –
сиятельна и златовласа.

Помянем лодку-на-лету,
свергающуюся в каменья.
Помянем Александра Меня,
убитого за красоту.

Души от Бога не тая,
на это Благо, это Злато,
нахлынувшее из-под плата,
перекрестился б он –
как я.

* * *

Дожди всё лето. Напитался лес.
Всю осень льёт и льёт – неумоги!
А тут мороз – пальба рвёт бересту:
по нежной глади молнийный надрез.

Кружится, замедляя ток, шуга,
сужая забереги-берега.
На синий лёд садятся мотыльки
дыханья остывающей реки.

Следи наплзновение шути
на лезвееобразные края.
Сейчас проломают лёд твои шаги.
Всё тоньше кожа, ближе кровь твоя.

На миг ослепни в солнечном снопе,
что бьёт сквозь иней веток и стволов,
весь в радуге – на миг ясна тебе
алмазная основа всех основ.

* * *

Воображением не богат,
на вернисаже
я погружался в ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ –
вылез – весь в саже.
Ну и довольно. Куда мне уйти?
Тихо у Нестерова, почти
пусто.
Отроку Варфоломею
было виденье... А я во плоти –
вижу камею –
русоволосую, лет двадцати.
В тёмном, тиха и бледна,
словно бы к постригу и она
нынче готова...
Скрыты, Россия, твои семена –
блещет полова.
Я понимаю,
что уходящий от мира сего
зиждет его,
и гляжу и немею.

Русь моя русая! В чёрный квадрат
черти заталкивали стократ –
полно, тебя ли?
Матовый свет на лице, словно рис.
Не осквернили торжественных риз,
а ведь ногами топтали...

ПОЛЁТ В ПОЛЁТ

Я должен описать его полёт:
не то чтобы как камень он падёт –
на взмыве ветра
он стоит, как камень.
Под ним, как тень,
таймень стоит в волне –
в капризной волокнистой быстрине,
чуть пошевеливая плавниками.
Вот так природа мне моя велит:
полёт – в полёт.
Так я во время влит.
Полёт – в полёт. Такое многоборье.
Одoleвая натиск лобовой –
полёт – в полёт!
над каменной Москвой –
клоню,
клоню и правлю к Беломорью.

Записи. ВСТРЕЧА

Узнаю:
это ты Мне работал горбом
и не звался рабом
при достатке никчёмных послушливых чад:

только лбами стучат!
Только милости просят Моей в простоте,
и особенно те, что не жнут и не косят.

Ты не хилым пришёл стариком:
с топором, с мастерком –
что ж, трудись и немотствуй...

Я ведь Сам никого ни о чём не молю,
да и некого Мне. Всяк сиротствуй,
кого Я люблю!

Ты Моею был волею прав, и страданьем права
при живом ещё муже – вдова.
Ею, чистой, продолжил ты род свой.
Утешителя ангела к ней ниспощлю...
Всяк терпи и сиротствуй,
кого Я люблю.

Я о детях... поплачу тайком,
если что-нибудь значу
на Престоле таком.

ПЕСНЯ

Анатолию Жигулину

Кабы дали три жизни да мне одному,
я извёл бы одну на тюрьму Соловки,
на тюрьму Соловки, на тюрьму Колыму,
твоему разуменью, дитя, вопреки.

По глухим деревням Костромской стороны
исходил бы другую, ХОЗЯИН И ГОСТЬ,
на студёной заре ранней-ранней весны
в сельниках мне так жарко, так чутко спалось!

Ну а третью отдал бы чёрно-белым горам,
и друзья бы меня величали: Ладо...
Сколько раз бы я жил, столько раз умирал,
ну а как умирал, не видал бы никто.

Я бы так умирал, как заря ввечеру,
уходил-пропадал, как больное зверё...
Только раз я живу, только раз я умру,
а потом я воскресну во Имя Твоё.

СОДЕРЖАНИЕ

«Сквозь дождь и дерево нагое...»	3
«Свобода берёт своё...»	4
«Ты погляди, как ветви ели...»	5
Муза	
1. «Где эта грешная обитель...»	6
2. «Родина, благ я твоих не отрину...»	7
«Через поле, через лес...»	8
«В Калязине душном шиповник цветёт...»	9
Село Никола	10
«Туманный дождик тише тишины...»	12
«Давнею бурей снесена...»	13
«Век бы жил на этой просеке...»	14
Два стихотворенья	
1. Архангельск, 3 июня 1989 года	16
2. «Невесомый мотылёк...»	17
Страсти Егория	18
Возле станции Иня	20
Поединок	22
«Нелепая русская тяга...»	23
Русью пахнет	24
Белый свет	26
Семеро и один	28
Вся простота	30
Царь-свеча	31
Печать	32
«Вынув из урны хлеба кусок...»	34

- Портреты. Твардовский 35
 «Небезгреховна, небезвинна...» 38
 «Здесь переедем-перейдём...» 39
 Пьета I 40
 Памятник Пиросмани 41
 Записи. Пока дышу 42
 Твоею славой 44
 «Лесная родина. Июль...» 46
 Тависуплеба 47
 «За острой желтизной дрока...» 48
 Под солнечным обвалом 49
 Ольга. Баллада 50
 Дедушка убийца 52
 Из альбома 54
 Тема 56
 Стужа 57
 Имя прадедово 58
 Объяснительная записка 59
 Памяти отца Феодосия Чулкова,
 священника Николо-Вознесенской церкви 61
 Поклон костромским старухам 64
 Родные 66
 Портреты. Анна Ходасевич 68
 Записи. Писёмушко 71
 Обидища 74
 Явь 77
 Рука сочинителя 79
 Гефсиманская сонливость 81
 Памяти Дмитрия Голубкова 83
 Начальник разведки арtpолка 85
 «Да, праздник. Незаконная слеза...» 87
 Портреты. Варлам Шаламов 89
 Портреты. Его крестом 92
 Прошу... 93
 Христосики 94
 Моё вам 96
 Напрямик 98
 Недаром 99
 «Пловец, который плавает с умом...» 100

- Две строки 101
 Март благословенный 102
 Сам! 105
 Эти кольца 106
 Единым дыханьем 108
 Твой сон 110
 Сад Генриха Гейне 111
 Спаси и сохрани! 113
 Если нет её 115
 Взгляд 117
 Ракита 119
 Ковыли 120
 Правобережный хрящ 121
 Мгновенье слабое 122
 Никаких проблем 124
 Протянутую руку 126
 Дочери Кате 128
 «Пёс ждёт хозяйку, а хозяйки нет...» 129
 Не опоздай к концу 130
 Этап 131
 Неустанно 132
 Святые ворота 133
 «Не поддался на переков...» 135
 Анзер, Голгофа 136
 Клинок 138
 Пушкинское Давыдково 140
 «Серебряный тяжёлый кубок...» 144
 «Ручей сочился между кочек...» 145
 «Отделённый сумраком от земли...» 146
 «Работа разрывов, разлуки труды...» 147
 Весною поздней 148
 Лодка
 1. «Здесь омут от страха недвижим и чёрн...» 149
 2. «И православный тёмный плат...» 150
 «Дожди всё лето. Напитался лес...» 151
 «Воображением не богат...» 152
 Полёт в полёт 154
 Записи. Встреча 155
 Песня 156

Владимир Николаевич ЛЕОНОВИЧ

СТО СТИХОТВОРЕНИЙ

На первом клапане обложки:
Франческо дель Косса. Эверпа. 1460

Редактор – *Б.Н. Романов*
Художественное оформление – *Д.В. Логинов*
Верстка – *Л.А. Шелкова*
Операторы – *Татьяна Барышникова, Ирина Чижикова*

*Информационная поддержка –
журнал «Новое время» («The New Times»)*

Издательство «Прогресс-Плеяда»
Гл. редактор С.С. Лесневский
125009, Москва, Тверской бульвар, 14, стр. 1, офис 501
Тел./факс: (495) 648-07-86, 648-07-87
E-mail: progresspl@yandex.ru

Подписано в печать 25.04.2013. Бумага офсетная
Гарнитура «Charter». Печ. л. 5,0. Формат 84x108¹/₃₂

ISBN 978-5-7396-0265-7



Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»
на оборудовании Konica Minolta
ООО «Ваш полиграфический партнер»
Москва, Ильменский проезд, 1, корп. 6



Владимир ЛЕОНОВИЧ

родился в 1933 году в Костроме.

Окончил филологический факультет МГУ.

Автор поэтических сборников:

«Во имя» (1971),

«Нижняя Дебря» (1983),

«Время твоё» (1986),

«Явь» (1993),

«Хозяин и гость» (2000).

Один из лучших переводчиков

грузинской поэзии;

переводил также армянских,

татарских, казахских поэтов.

Работал в Комиссии

по творческому наследию

репрессированных писателей России.

Лауреат Горьковской литературной
премии (2010), экологической премии

«Водлозерье».

